

РИШАР МИЙЕ  
ПРИСТРАСТИЕ  
К НЕКРАСИВЫМ  
ЖЕНЩИНАМ



«Проза нашего времени»

Ришар Мийе

**Пристрастие к  
некрасивым женщинам**

«Этерна»

2005

## **Мийе Р.**

Пристрастие к некрасивым женщинам / Р. Мийе — «Этерна»,  
2005

Ришар Мийе – современный французский писатель, издатель, великолепный стилист, как никто понимающий необходимость «культуры» языка для любого народа. Автор затрагивает очень важные темы – одиночество, поиск себя, попытка понять, как жить с тем, что тебе дала природа, и при этом не чувствовать себя вечно несчастным.

© Мийе Р., 2005

© Этерна, 2005

# Содержание

I	6
II	8
III	11
IV	16
V	19
VI	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Ришар Мийе

## Пристрастие к некрасивым женщинам

*Все, у кого много книг, из любопытства стараются прочесть новые, пусть даже и плохие, так же и мужчина, любивший многих красивых женщин, вдруг из любопытства проявляет интерес к женщинам некрасивым, когда они представляют для него новизну.*  
*Казанова «История моей жизни»*

*Больше всего я ненавижу не некрасивых женщин, а тех, кто наполовину уродлив, но считают себя красавицами.*  
*Стендаль «Дневник»*

*Сердце мужчины меняет лицо, делая его красивым или некрасивым.*  
*Екклезиаст, XIII, 31*

Richard Millet.

Le goût des femmes laides

Ouvrage publié avec l'aide du Ministère français chargé de la Culture – Centre national du livre

Издание осуществлено с помощью Министерства культуры Франции (Национального центра книги)

© Éditions Gallimard, 2005

© В. В. Егоров, перевод, 2014

© Палимпсест, 2014

© Издательство «Этерна», оформление, 2014

## I

Как и у большинства мужчин, моя сексуальная жизнь не сложилась.

Однако я полагаю, что из этой нескончаемой неудачи я еще выпутался не хуже других. Я не страдаю ни пороком, ни манией откровения, у меня нет даже неукротимого стремления к искренности, что могло бы заставить меня признаться сорокалетней женщине, что я люблю только молодых девушек, женщине с маленькой грудью – что могу заниматься любовью только с пышногрудыми дамами. Или сказать красивой особе, что ее красота меня пугает. Впрочем, редко можно встретить женщин, про которых можно было бы сказать, что они красивы, поскольку почти все они в некотором роде уродливы и не знают об этом до тех пор, пока им это не откроется в любви. Еще реже можно найти мужчин, по-настоящему любящих женщин. И в конце концов, почти невозможно встретить любовь, счастье, чистый огонь желания. Кстати, именно невозможное управляет любовными отношениями. Что же касается так называемой сексуальной жизни, так это – всего лишь удобное название; это, в конечном счете, есть нечто иное, как тень, брошенная на другого нашими меланхоличными детскими мечтаниями или доисторическими охотниками.

Я из тех людей, кому их мать сказала, что они некрасивы. Конечно, она не выразилась так прямо и ясно, и я ее не услышал, а, будучи еще ребенком, догадался об этом по ее взгляду, когда мы несколько лет жили затворниками, всеми покинутыми и несчастными, в Сьоме, на плато Лимузена, куда я, вероятно, никогда больше не вернусь. Или она сказала это иначе, обиняком, вполголоса, да еще и на местном наречии, где слова имеют не совсем тот смысл, что во французском языке, и где все, что говорится, звучит более резко или более мягко. И конечно, менее торжественно.

«Уродец!» – прошептала она, очевидно, с сожалением, поскольку я не представляю, чтобы она смогла сказать такое мне в лицо тем повелительным тоном, которым она могла говорить с тем, кто ей не нравился, или же прогоняя какое-нибудь животное, осмелившееся войти в коридор нашего дома.

Эту фразу она произнесла, когда однажды какой-то цыган переступил порог нашего дома и предложил переплести стулья. Бегающие глазки маленького смуглого человечка обшаривали все вокруг, а мать возмутилась, что кто-то осмелился войти без стука и разрешения. Она грубо вытолкала его вон, произнося французские слова с твердостью женщины, готовой пойти за ружьем мужа. Потом она повернулась ко мне с горящими глазами и хмурым лицом и произнесла:

«Уродец!»

Она имела в виду цыгана, но глаза ее смотрели в мои. Я постарался отвести взгляд. Впрочем, я всегда избегал ее глаз, которые пытались найти в другом человеке то, что ее разочаровало бы и снова вернуло в меланхолию. А в тот день она, несомненно, увидела во мне то, что никогда не желала, но ее гнев заставил согласиться с увиденным: я был похож на того цыгана. По крайней мере, так мне показалось, поскольку мой случай оказался более тяжелым. Цыган был уродлив по причине принадлежности к своей национальности (так говорили на лимузенских плато, где некоторые коренные жители были очень похожи на цыган, поскольку являлись потомками арабских завоевателей и выходцев из Центральной Азии). А вот я был уродлив от рождения и без всякой надежды измениться к лучшему.

«Уродец!»

Сказала ли она это или я прочел в ее глазах, но это было так же ужасно, как понимание смерти или полового созревания, то есть окончания жизни или детства. Мое детство закончи-

лось, когда мне было восемь лет и я узнал, что слова *красивый* и *уродливый* можно применять не только к животным и вещам, но и к людям. И не только к другим людям, но и ко мне. Я присоединился к категории плохих, взяв для самозащиты тезис, который я немедленно придумал и чье значение я долгое время не мог оценить, нечто вроде девиза. Я продолжаю говорить его всем, кто смотрит на меня слишком пристально или с отвращением:

«Все не могут быть красивыми».

Я надеялся, что эта формулировка поможет облегчить мое положение и из уродливого сделает меня просто «некрасивым». Не «не очень красивым», что в Сьоме всегда произносилось с иронией и обозначало «уродливый». Я также не хотел стать жертвой эвфемизмов, переполняющих современный язык и называющих «некрасивыми» отвратительных, использующих слово «невидящий» вместо «слепой». Языки тоже могут иметь свое «уродство».

Я замечаю за собой, что сегодня понимаю слово «уродливый» в совсем другом значении: несмотря на то что это определение звучит несколько жестоко, у него есть свое благородство, и я нахожу в нем элегантность худшего, способ существования, определенное качество, даже искусство, предполагающее насмешку и самопожертвование. В нем есть нечто от власницы и жабо, оскорбления и ужаса, провокации и унижения. И я, несомненно, не жил бы так напряженно, будь я красив или просто приятной наружности. Во мне бы не было ничего выдающегося. Красота, если она не исключительна или не дана человеку с крепким характером, часто граничит с увяданием. Я никогда бы не стал тем, кем сейчас являюсь. Я пошел бы по стопам сестры и стал преподавать, но эта специальность была для меня недоступна по причине моей уродливости, естественно. Как и все другие профессии государственной службы, даже не очень престижные, как, например, ночной сторож. Им я рассчитывал поработать, чтобы иметь возможность оплатить учебу в Клермон-Ферране. Но мне отказали под предлогом, что я больше напугаю клиентов, чем преступников: ночью меня могли бы принять за вора по причине в первую очередь, что я привык прятать лицо в поднятый воротник или надевать маску. Так мне сказал хозяин охранной фирмы, бывший солдат Иностранного легиона, человек такой страшной внешности, что я чуть было не заплакал. А потом я последовал его совету и отправился разгружать ящики на городских рынках. На заре, вместе с черными, арабами, турками и несколькими местными жителями, которые посоветовали мне не смотреть долго на фрукты и овощи, чтобы не слазить. Это была шутка, причем не очень злая, и я почти к этому привык. Но мне понадобились долгие годы, чтобы я привык показываться на людях не краснея. И еще я всегда говорил одну и ту же фразу, которой старался объяснить, что красота – это только мгновение уродства. Формулировка была парадоксальной и несколько упрощенной (ее к тому же можно было перевернуть в другую сторону), но имела то преимущество, что разрешала людям разговаривать свободно, не обращая внимания на лицо собеседника, которое чаще всего служило им особенным зеркалом.

## II

Итак, я не был красавцем. «Уродец, страшилище, гадкий утенок», – говорила мне, сидя на соломенном стуле на Верхней улице, старуха Рош. Она пугала меня своими гнойными глазами, отвисшей красной нижней губой и беззубым ртом. Я тогда еще не знал – ведь мы прожили в Сьоме всего несколько недель, – что она ненавидела весь мир, старалась всех оскорбить, включая и себя саму. И это заставляло меня предполагать, уже с восьмилетнего возраста, что есть прочная связь между уродством и ненавистью.

«Я – урод», – сказал я сестре.

Она пожалала плечами. Это было в тот день, когда к нам заглянул цыган. Я нашел сестру не в ее комнате, куда, как и в комнату матери, я не имел права входить, очень скоро поняв (даже раньше того, как мне открылась истина относительно моего лица), что есть зона обитания женщин и есть остальной мир, да и остальной мир также является зоной обитания женщин. Женщины – не только половина человечества, но и в некотором роде неизведанная земля, где мужчины мечтают разбить лагерь, более или менее счастливый бивуак. И это все несмотря на внешнюю видимость, которая дает мужчинам иллюзию, что они – повелители.

Моя сестра (я мог бы называть ее по имени, но она на десять лет старше, и я долго считал ее второй матерью, поскольку именно она большей частью и воспитывала меня, моя Элиана, ее имя по звучанию очень похоже на имя матери, Элен) в тот день после обеда занималась в своей комнате и читала Киркегаарда { Киркегаард, Якоб (р. 1975) – датский художник, философ, известен во всем мире своими артистическими опытами в «скрытых» акустических областях, исследует звуки в различных пространствах, которые недоступны человеческому восприятию. Активно работает в сфере перформанса, сочиняет музыку к фильмам, создает инсталляции и композиции. }. Я помню, с каким удовольствием она читала и с какой гордостью тем же летом заявила об этом парню из Сьома, Паскалю. Его все звали Бюжо, хотя это и не было его настоящей фамилией, которой он стыдился, как я своего лица. Он жил в Вильвалеиксе у бабушки в нескольких километрах от Сьома, хотя ему больше нравилось жить в Сьоме, где родился. Так вот, сестра заявила, что она, дочь водителя грузовика, читает Киркегаарда. И сделала это с высокомерием девушек, которые, как говорили, задаются. Но произнесла слова «водитель грузовика» с такой же гордостью, что и имя Киркегаарда, поэтому фамилия датского философа из-за странного звучания звуков оказалась связанной не только с тем моментом жизни, но и с отцом, которого я почти не знал. Когда я в свою очередь читал Киркегаарда, мне казалось в некоторые моменты, когда ум отвлекался от текста, чтобы предаться мечтам, что я вижу какого-то мужчину с растворившимся в ночи лицом.

Я тихонько постучал в дверь, как делал всегда, когда хотел что-нибудь у нее спросить. Это было единственным условием, когда я мог ее побеспокоить: сестра не любила пустой болтовни или жалоб.

«Я – урод», – прошептал я, когда сестра с подозрительным видом приоткрыла дверь. Она не расслышала моих слов, заставила повторить, но не для того, чтобы унижить, как мне вначале показалось, просто я сказал это, проглатывая слоги. А она решила, что мне стало одиноко и я пришел, как и в предыдущие дни, долго поломав голову над вопросом, зачем я ее побеспокоил. В таких случаях сестра читала мне какой-нибудь отрывок из «Трактата об отчаянии» { *А. Конт-Спонвиль*. Трактат об отчаянии и блаженстве. }, чтобы дать понять, насколько она умна и мне следовало самому во всем разобраться, что скука – не неизлечимая болезнь и раздумья в одиночестве гораздо лучше банальных развлечений.

«Только глупцы стараются веселиться любой ценой», – добавляла она.

Элиана советовала мне прочесть книги, которыми заваливала меня и с согласия матери покупала где только могла: на ярмарках, в сельских булочных и даже с рук у жителей Бюижа, Вильвалеикса, Эймутье. Им она задавала один и тот же вопрос:

«Нет ли у вас дома, где-нибудь на чердаке, книг, которые вам не нужны?»

Она покупала их подешевке, зная цену деньгам и вещам. Вначале люди относились к ней с недоверием, потом, поскольку на цыганку она никак не походила, несмотря на угольно-черные глаза, вызывала в добрых крестьянах жгучее желание заработать несколько су. Элиана торговалась, а они были рады избавиться от книг, которые принесли в дом или дочь, закончившая свое обучение, или племянница, приезжавшая на каникулы, или супруга, в прошлом любившая читать. Сестре часто приходилось покупать книги оптом, хорошие и плохие, в дешевом издании, пожелтевшие, пахшие плесенью или потом, запыленные, засиженные мухами, покрытые паутиной. Иногда я читал их, надев перчатки. Это были произведения классиков и дешевые романы – целая библиотека почти забытых авторов, но благодаря им я все-таки смог не утонуть в грусти. Эти книги стояли на сосновых этажерках, сделанных плотником из Сьома по фамилии Шабра. Мать не терпела ни малейшего беспорядка, в том числе и в моей комнате, куда никогда не заходила, предоставив меня заботам сестры и передав ей частично право решать все связанные со мною вопросы, за исключением финансовых. И конечно, морального авторитета, как сказал Жан Питр, один из немногих жителей Сьома, с которым я подружился. Мы снимали дом на пересечении дорог на Бюиж и Тарнак на окраине городка, в месте, получившем название «Часовня». И поэтому я оставался для местных «временным», почти сироткой, кем-то посторонним.

Я очень боялся матери, ей не надо было ни поднимать голос, ни говорить что-либо: меня ставили на место один только ее взгляд, нахмуренные брови или покашливание. Иногда она глядела на сестру, и та поднималась и давала мне шлепок так тихо, как только могла. Вскоре этот жест превратился в выражение нежности, а позднее она наполнила его иронией, которую всегда проявляла ко мне. В те времена, когда она была правой рукой матери, этот жест давал мне понять, что и она была вынуждена подчиняться, что это лишь способ защитить нас обоих от намного более тяжелого наказания.

И в этом она конечно же перестаралась, да и я переоценивал материнскую суровость. Но как могло быть иначе в семье без отца, в которой мать и сестра должны были любой ценой его мне заменить? Сестре приходилось давать частные уроки, чтобы оплачивать мое обучение, а мать кормила нас, работая на заводе по изготовлению фанеры в Буиже по графику три смены по восемь часов. Я долгое время не понимал, что это означало вовсе не сутки в двадцать четыре часа, которые делятся на три части. Оказалось, что восемь часов длится рабочая смена, а график смен с каждой неделей меняется. Она работала в одной смене с Жаном Питром, и на его машине «4 CV» они уезжали на рассвете, в полдень или вечером, в зависимости от недели, и вместе возвращались. У нас не было средств на покупку машины, и, несмотря на то что Бюиж от Сьома отделяли всего четыре километра, мать считала неудобным, то есть неподходящим ее положению, ездить туда на велосипеде или мопеде. Ведь она имела образование и работала бухгалтером на небольшом транспортном предприятии моего отца в Бор-лез-Орг, на другом конце департамента. Хотя она и родилась в поселке Безо в очень бедной семье, свою работу на фабрике горделиво считала унизительной. Тогда ходили слухи о ее поездках с последним из рода Питр, ведь никто не знал, что он умрет, не познав любовных объятий ни с одной женщиной. Именно ради нас, особенно ради меня, мать, как говорила Элиана, жертвовала собой. Чтобы у нас была другая жизнь, чтобы мы, возможно, поселились в другом месте, не на высотах Лимузена, а в лучших условиях. Чтобы там мы избавились от влияния крови, имени и климата, которому подвержены все обитатели Сьома, куда она вернулась жить по необходимости и где, сразу же после возвращения, впала в состояние молчания и из него уже никогда

больше не выходила. Она была измотана работой, для которой не была создана, и печалью о покинувшем ее отце.

### III

«Я – урод», – повторил я сестре, которая неподвижно стояла на пороге своей комнаты, заложив руки за спину, приоткрыв рот и, возможно, выпустив слюну на подбородок. Взгляд ее был растерян, голос дрожал.

На этот раз она вышла, закрыв за собой дверь, и спросила, в порядке ли я. Спросила не столько из-за позднего времени, сколько из-за того, что была поражена моими словами и нужно было что-то ответить. Элиана подтолкнула меня к лестнице, которая вела в коридор и на кухню, подальше от комнаты матери. В тот субботний апрельский вечер было довольно тепло, и входную дверь можно было оставить открытой. В апреле солнце уже стояло высоко, а окружавшие с трех сторон старый дом сосны больше не препятствовали свету проникать в нижние комнаты. Они всегда были холодными, темными и влажными, особенно гостиная, где мы никогда не сидели втроем: ели мы на кухне, читали или работали каждый в своей комнате. Но там любила отдыхать мать, говорившая, что сон в середине дня в спальне как предвкушение смерти.

«Знаешь, не следует доверяться внешности, даже если действительность против тебя», – сказала сестра, вскипятив воду. Потом она, не пролив ни капли, налила кипятка в свою чашку с порошковым кофе и в мою чашку с какао. Я пил его без молока, поскольку мать считала, что это полезно для пищеварения. А сестра не давала мне кофе, потому что он мог усилить мое беспокойство.

Нет, я ничего не знал, я ничего не понимал. Я не понимал, почему она не сказала мне, что я не красавец, но и не урод или что я «неплох», как выражалась ее единственная подруга в Сьоме Ан Демаре, когда они с Селин Судей говорили о парнях. Но она молчала. Когда сестра на меня смотрела, на лице было примерно такое же выражение, как у матери: нечто вроде покорности и ужаса, разочарования и чувства жалости. И никогда я не видел выражения удовлетворения или радости, а лишь чувство более близкое к ненависти (или отвращения, способного вызвать ненависть), как одной из форм любви, включая ее искаженную форму в виде нежности. Ко всему добавлялось неизбежное смущение и раздражение, что ничего нельзя было сделать, кроме как признать, что я действительно урод, и покончить с этим вопросом. Именно это я и понял, когда она провела по моему лицу своими теплыми от горячей чашки пальцами, глядя на меня и не видя меня, словно нанося на мое лицо желто-голубые цветы с фарфора.

В тот самый день я заметил это (в тот день я узнал о себе и других гораздо больше, нежели обычно дает время), Элиана, как и мать, имела обыкновение разговаривать со мной, стараясь не отводить своих глаз от моих. Или же смотреть в сторону, на улицу, где не было ничего, кроме голубого, жестокого, ледяного неба. Или еще дальше, вниз, за сосны, на ту сторону дороги, где машины шли вниз в направлении Лиможа, а вверх – в направлении Юсселя. И именно небу в тот момент я готов был отдать душу и лицо, поскольку у меня никогда не хватило бы смелости броситься в озеро или под колеса грузовиков, чья тяжесть заставляла дрожать ромбовидные стекла окон, а свет фар был таким ярким. Я и теперь думаю, что их огни танцевали и мир не сильно отличается от сказок Перро и Андерсена.

«Эй, ты где?» – прошептала сестра с выражением усталости, делавшим ее похожей на мать.

Что я мог сказать? Я был уверен в худшем. Я только что узнал правду и отныне вынужден был с ней жить. Это походило на некое раннее половое созревание. Сестра была слишком честной, чтобы меня обманывать, и слишком озабоченной поисками правды о себе, которую она искала в тишине, в языке, в «этих чертовых книгах», как говорила мать, и в том, что она называла умением жить. Это делало ее неспособной как лгать мне, так и утешать меня или сказать полуправду, когда люди оставляют вопрос в подвешенном состоянии.

Понимала ли она, что уродство грубо лишало меня детства? Должна ли она была заверить меня, что я не урод, что я еще слишком мал, чтобы такое говорить, что мне всего восемь лет и мое лицо с возрастом изменится? Что даже красивые люди со временем становятся уродливыми? Что много примеров, когда подростки теряли свою красоту в шестнадцатилетнем возрасте и становились уродами, как это случилось с сыном Орлюка, похожим на курдюк остриженной овцы, как говорили в Съоме? Или что самая красивая девушка, в зависимости от дня и настроения, может выглядеть такой уродливой, что никто и никогда на нее больше не взглянет?

Она не могла оставить меня вот так, сказав вместо утешения некие загадочные слова, с чашкой какао на воде и беглыми пальцами слепой на моем лице. Она посмотрела на часы из темного дерева, висевшие над дверью кухни и отсчитывавшие, как мне тогда подумалось, бесконечные минуты моего несчастья, поскольку мне суждено было жить с этой ужасной маской. Да, маской, потому что никто по-настоящему не чувствует себя уродом. Без этого неведения, добровольного ослепления люди не смогли бы выжить, в упорной ненависти к себе или в меланхолии. Это было всего лишь маской. Я был приговорен выковать для себя хмурую горделивость благодаря книгам, в частности роману о Железной маске, и еще романам Ла Варанда «Кожаный нос» и Барби д'Оревилля «Заколдованный». Я стану принцем без лица, таинственным дворянином, хоть и не героем, поскольку мое лицо было не совсем моим. И мало-помалу я буду вынужден понять, что жизнь – это более или менее медленный способ смирения с тем, что ты есть. Я буду мечтать. Буду поступать так, словно ничего и не произошло. Но роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», попавшийся в руки в одиннадцатилетнем возрасте, вернет меня в тот апрельский вечер, когда мне изуродовали лицо. Мне придется бороться именно так. Я был Гвинпленом. Я улыбался. Я всегда буду стараться улыбаться, даже когда буду плакать. Мать и сестра разорвали мне рот до самых ушей, обнажили десны, испортили нос, оттопырили уши. Никогда мой внешний вид не будет походить на мою душу, а для того, чтобы не пугать людей, я буду вынужден улыбаться, казаться любезным, и эта изнурительная работа будет занимать большую часть времени. Коль скоро я не хочу, чтобы надо мной смеялись, я должен буду заставлять людей улыбаться. А для того, чтобы не пугать девушек, не внушать им ужас, мне придется постепенно, всегда с улыбкой, вызывать у них жалость, показывая им, что я намного уродливее и хуже, чем есть на самом деле. Но я могу (я долго об этом мечтал) преобразиться от любви слепой и нежной красавицы.

Я помыл чашки и ложки холодной водой, тщательно их вытер и положил на место в буфет. Мать строго за этим следила, по ее мнению, небрежность, слабоволие были грязной чертой бедняков. А мы, хотя и были почти что бедные, обладали достоинством, и нам надо было оставаться такими, бедными и достойными. Если ей верить, это было единственной надеждой на перемены в судьбе. «Достоинство надо сохранять даже в голом виде», – сказала она, увидев, как сестра полуголая ходила по дому. Но я был не просто бедным: я был еще и уродом и чувствовал, что уродство было связано с достоинством и социальным положением.

Сестра велела мне надеть то, что она называла пелериной, но было на самом деле плохеньким демисезонным пальтишком, перекроенным из габардинового костюма отца. А сама взяла один из стоявших рядом с дверью посохов для прогулок, вырезанных из веток граба. Элиана всегда гуляла с таким посохом из опасения, как она объясняла, встретить змею. Но в тот день она призналась мне, словно это признание имело отношение к моему открытию, что палку она брала на случай встречи с нехорошими людьми, которые могли попасться девушке на глухих тропках. Да, есть такие мужчины, уточнила она, поднеся ладонь к горлу, давая понять, что уже имела такую встречу (я понял это спустя несколько лет, когда стал лицеистом в Юсселе и когда мы жили с ней вдвоем) и именно по этой причине сторонилась мужчин. Я не посмел ее об этом расспрашивать, во-первых, потому, что она была моей сестрой, девушкой прямой, непримиримой и гордой, которая почти воспитала меня. Во-вторых, потому, что я тогда был не в состоянии воспринимать ее как женщину – кстати, даже сегодня я не могу этого сделать

– и смотрел на нее так, словно у нее не было лица или ее лицо унесено временем и ночью, и невозможно сказать, было ли оно красивым или уродливым, старым или молодым.

Мы стали спускаться в Сьом, здороваясь со встречными людьми несмотря на то, что они часто бросали на нас враждебные взгляды. Мы даже остановились поболтать со старым Антуаном Пуарье, он был неплохим человеком, но сестра обычно избегала его из-за сальных замечаний, которые тот бросал через все поле, особенно в адрес молодежи. Его кривой рот походил на красноватого кальмара, за что сын Орлюка сказал (я это слово услышал впервые), что вместо губ у него была вульва. Это было следствием раны, полученной в ходе Великой войны. А гримасы, появлявшиеся на его лице при разговоре, меня пугали, словно это был старый фавн, особенно когда он вставлял сигарету в отверстие в своем шраме. Он утверждал, это мне тоже сказал сын Орлюков, что рот у него был таким, потому что он очень любил все сосать.

«Так что именно он сосал?» – спросил я позже у сестры, покрасневшей до корней волос. Тогда я почувствовал, как и сам краснею, а она сказала, что он сосал кровь слишком любопытных мальчишек. А я представил себе, как старый Пуарье ночью появляется в моей комнате, подходит ко мне, ковыляя на своих кривых ногах, громко шлепая по полу галошами, шипит сквозь ужасные губы, показывая окровавленные зубы, подобно тем вампирам и вурдалакам, о существовании которых я прочел в книге, не прошедшей тщательного контроля со стороны сестры, и воспоминания о них время от времени заставляли меня просыпаться ночью. Но я не смел кричать, поскольку больше боялся гнева матери или насмешек сестры, нежели укусов ночных монстров.

Я был удивлен, что сестра, обычно такая сдержанная, болтала со старым Пуарье о вещах, не связанных ни с кровью, ни с ночными похождениями, ни с наказанием. Они говорили о дожде и хорошей погоде с очень серьезным видом. А я стоял рядом и удивлялся, что не дрожу от страха вблизи этого старика, перекошенного годами, пороками, воспоминаниями и приближающейся смертью.

Я еще более удивился, когда она привела меня за руку, словно ребенка, которого ждет публичное наказание, как это время от времени практиковалось в Сьоме, на деревенскую площадь и подвела к какой-то женщине. Я начал плакать, поскольку подумал, что она тащит меня к большому Питру, человеку, который, судя по рассказам, прибил гвоздем к столу ладонь своего сына Амедея и, если верить слухам, мог зажечь палку одной только силой взгляда. Именно это я и повторял сестре по пути. Но она, вместо того чтобы повести меня наверх к дому Питров, свернула налево и прошла между зданиями дома Шабра и «Отеля у озера», а потом спустилась к самому крайнему дому поселка, к единственной в Сьоме вилле сестер Пьяль, где она надеялась найти старшую из них, учительницу по имени Ивон. Та жила вместе со своей сестрой Люси, известной на всю округу своей красотой и девственностью. Люси Пьяль сидела рядом с сестрой на террасе, выходившей на озеро. Ей было около пятидесяти, но выглядела она моложе лет на пятнадцать: гладкое, без морщин лицо, собранные назад волосы, потерянный взгляд, подрагивающие, но молчаливые губы, светлые глаза, неподвижно лежащие на коленях руки. Грудь ее (самая прекрасная, какую можно было увидеть, как говорили, хотя никто не видел ее обнаженной, а уж тем более до нее не дотрагивался) поднималась под теплой кофтой подобно качающемуся на западном ветру дереву. Хотя я в восемь лет ничего еще не знал о плоти, но в тот момент отдал бы все, пожертвовал бы всем ради возможности уткнуться лицом в эту грудь. И не знал, что она будет преследовать меня всю жизнь, а я буду искать ее у всех женщин и буду вынужден ограничиться тем, что стану мужчиной, находящимся в постоянном поиске, искателем (но не созерцателем, прошу понять различие, поскольку уродство сразу же и несправедливо связывают со всякими извращениями). На самом деле мы больше живем взглядом, нежели нашими поступками, жестами, мечтами. Увидев, как Люси Пьяль подносила к своим

пухлым губам стакан гранатового сиропа, я понял, что вкус этого сиропа для меня навсегда будет связан с ее губами. И не только с ее, но и со всеми женскими губами, к которым я буду прикасаться, представляя себе плоть граната той же формы и того же яркого цвета, как тот женский орган, о котором я имел лишь смутное представление: я пробовал этот фрукт только в виде сиропа, но к нему меня постоянно возвращает тайная женская плоть.

Мы сели рядом с сестрами Пьяль. Элиана уселась на садовый стул, а я на первую ступеньку лестницы, покрашенной в белый цвет. Сестра заговорила с учительницей о книгах, которые хочется прочитать и перечитать и которые, как она говорила, считает сутью жизни. А я в это время сгорал от желания броситься на грудь Люси Пьяль, улыбавшейся ветерку. Я задавался вопросом, какой могла быть эта плоть, одновременно легкая и тяжелая, крепко сбитая и бархатистая. Ивон Пьяль говорила о каком-то недавно прочитанном американском романе, в нем повествовалось о раскаленной земле, крестьянах, похоронивших свою мать почти так же, как это делают в Сьоме. Каждый в ходе поездки мечтал о своей жизни – ведь мечта о жизни столь же ценна, как и сама жизнь, которая, впрочем, есть нечто иное, как мечта, произнесла сестра. «В этой книге рассказывалось о нас», – добавила Ивон Пьяль, на это Элиана ответила, что самое главное, что автор говорил о нас, не только о жителях Сьома, Лимузена, Франции или Америки, а о нас как человеческих существах.

В тот день, дыша кислотоватым и резким апрельским воздухом, а над озером кружил коршун, я понял, что мне дано видеть одновременно день и ночь и что ночь по-своему красива, часто восхитительна. И что день тоже может быть пасмурным, не зависящим от перемен тени и света. Что уродство само по себе не существует, а красота может сопровождаться одиночеством намного худшим, если она дана такому человеку, как Люси Пьяль. Что в ее случае красота бесполезна, поскольку она закована в лед невинности, в то время как уродство старого Антауна Пуарье – гримасничающее проявление жизни. Уродство и красота неразрывно связаны между собой. И если нам не дано решать, какими мы станем, мы все-таки должны выбирать, к какому лагерю примкнуть. Открыв для себя, кто я такой, я выбрал лагерь красоты: не той, что можно назвать противоположностью уродства, а неуловимой, робкой красоты, возникающей из самой уродливости и совершающей чудо, то есть невозможное.

Урок, который преподавала мне сестра, был слишком наглядным, чтобы убедить и, главное, утешить меня. Ничто уже не могло отвлечь меня от сознания собственного уродства, это я понял в восемь лет. И я начал резко проваливаться во времени наподобие скал, отламывающихся от крутого берега реки Везер по ту сторону озера у подножия горы Вейкс.

Мы отправились домой. Я плакал. Я улыбался. Я шел опустив голову. Сестра сказала, что если я буду плакать, то рискую превратиться в статую из соли. Она не обняла меня – ни она, ни мать, ни кто-либо еще в то время и спустя еще много лет этого не делал, – нет, она взяла меня за руку. Эта ладонь была единственной частью ее тела, к которой мне было разрешено прикасаться. Я мог только улыбаться. Я сказал, что улыбка сквозь слезы, должно быть, придавала мне самый глупый вид на земле. Я подумал, что лучше быть уродливым, чем казаться глупым. Но Элиана меня не слушала и спросила с внезапно посерьезневшим лицом, повернутым в сторону заката:

«А какая, по-твоему, я?»

Да разве я до того дня смотрел на сестру, на мать, на девчонок в школе Сьома или на любое другое создание женского пола с мыслью оценить, красивы ли они? Язык мой прилип к небу, конечности налились тяжестью, лицо покраснело. Но не оттого, что я не мог ничего ответить, а оттого, что не нашел ничего красивого в этой девушке, моей сестре, которую я едва смел называть по имени, стараясь в большинстве случаев обходиться без этого. Я не смел говорить себе, что она не красавица, но это было в моих мыслях и казалось еще отвратительнее, чем мое собственное уродство. Эта мысль была такой же легкой, как укол шипом или

царапина от ежевики: сначала ты ничего не чувствуешь из-за холода или напряжения, но потом постепенно боль проявляется. И это удивительное страдание можно было бы назвать приятным, если бы оно не разрасталось в более резкую боль. И тогда царапина привлекает к себе все наше внимание, подобно тому как в ревности людей мучает какая-нибудь деталь, которую они сначала отбросили пожатием плеча, настолько она смешна, невероятна. Но эта деталь затем побеждает все разумные доводы защиты, причиняя самые жестокие боли, какие только может вынести сердце.

До тех пор я и в мыслях не считал ее отличной от себя. Повторю: у нее не было лица. Этот вопрос испугал меня, потому что не только заставил оценить ее и выделить себя из семьи, чтобы начать вести независимую жизнь, как мне тогда подумалось. Но и потому, что я с ужасом и стыдом понял: мое уродство касалось и Элианы. Я ведь помнил, как многие отмечали наше сходство. Отсутствие красоты вызвало во мне, продолжавшем молчать, такой же испуг, какой за несколько часов до этого проявился в глазах матери. У глаз этой восемнадцатилетней девушки я увидел морщину, которой у меня еще не было. Она дала мне надежду, что черты моего лица изменятся. Ведь я уже не верил в это, смирившись, что навсегда останусь уродом, и страдал оттого, что мы с сестрой были людьми некрасивыми. Именно этим объяснялось, почему наша мать, чье лицо и фигуру в Сьоме находили приятными и ее можно было назвать красавицей, если бы не ее худоба, нас не любила. Возможно, ее отвращала не столько наша уродливость, сколько сходство с мужчиной, который нас бросил, и ужасное сожаление, что любовь не сотворила смещения того красивого от каждого из них, а произвела на свет детей, унаследовавших самое неудачное. Или красота сработала только на вычитание: это действие с обратным знаком позволяет уродливым людям надеяться, что у них могут появиться красивые дети или последующее потомство, возможно, через поколение или два, в зависимости от того, как будет работать кровь. Это называется капризом судьбы, которому ни сестра, ни я не захотели подчиниться при зачатии.

Я меньше страдал от своей уродливости, чем от неведомого будущего. С этого утра мне казалось, что мое уродство будет видно всем. И будь я на чердаке или в самом темном углу погреба, мое лицо отныне будет предметом всеобщего посмешища (как сказал один приехавший в Сьом на каникулы парижанин, блондин, каких редко можно встретить на этих нагорьях, должны быть красивые люди и некрасивые, такова жизнь, и с этим надо смириться). И никогда больше моя внешность не вызовет доброго расположения, с каким обычно относятся к детишкам. Однако от этого я страдал меньше, чем от мысли, что моя сестра была уродлива, как и я. И у меня не было больше других забот, как убедить ее в том, что она не такая. Я брал на себя ее уродство, чтобы сделать эту девушку если не красивой, то, по крайней мере, не уродливой.

«Видишь, у тебя нет никаких причин жаловаться», – прошептала она с выражением несколько усталой победительницы, словно этот вопрос и ей тоже не давал покоя. Словно, несмотря на весь ее ум и силу характера, благодаря чему она умела сохранять дистанцию от так называемых движений сердца, она ждала от меня нечто другого, какого-то опровержения, одного из тех обманов, которые никого не вводят в заблуждение, но их приятно слышать – обычное утешение для некрасивых женщин и мужчин.

Действительно, сестра, эта умная девушка, посвятившая себя учебе и будущей деятельности на ниве образования, тоже искала для себя какую-то обманчивую лесть, которую я тогда не нашел. Эта лесть могла стать для меня если не пропуском в королевство женщин, то, по крайней мере, заветным словом, заменителем отсутствия красоты, неким утешением, какое однажды мне дали некрасивые женщины.

## IV

Тот, кто понимает, что он уродлив, особенно в детском возрасте, обречен чувствовать себя виноватым и безуспешно искать оправдания до конца своей жизни. Он вынужден искупать вину, таковой не являющейся. Это – одна из самых ужасных форм первородного греха или, если выразиться словами атеистов, несправедливости. Мать, которой сестра, несомненно, рассказала о моем открытии, утешать не стала (у нее никогда для этого не было ни жестов, ни слов). Но она дала мне понять, что отсутствие красоты для ребенка не имеет значения и менее важно для мужчины, чем для женщины. Почему я ей не поверил? Может быть, потому что я не смел посмотреть ей в лицо и она сама не верила в то, что говорила, или потому что она сказала это с таким отсутствующим выражением лица, что я был убежден в обратном. Жизнь моя могла сложиться совсем по-другому. Единственным человеком, который мог убрать уродливость с моего лица простым движением руки, была мать. Она смазывала кремом свои руки сразу же по выходе за проходную завода ради сохранения нежности, предназначенной, как объяснила сестра, для мужчины, что ее спасет (и нас вместе с ней, как я надеялся, правда не очень-то в это веря, поскольку мать слишком перестрадала от низости, как она говорила, моего отца). Она считала, что имеет право на свою долю счастья, которое, к сожалению, могло быть только безжалостным и эгоистичным. Моя мать ни разу не провела ладонью по моему лицу. Более того, она передала право мыть меня сестре, а когда мы еще жили в Бор-лез-Орг – одной старой домработнице, о ней в памяти сохранились только воспоминания о сухих и нетерпеливых руках.

В то время в Сьоме не было ни одного лица, которое могло бы послужить мне зеркалом, ни одной красивой девчонки моего возраста, сумевшей укрепить меня в этом открытии или опровергнуть его. Дети не видят, что видят взрослые, и не замечают тех, кто мечется во времени. И напрасно я старался всматриваться в лица своих одноклассников в школе в Сьоме, потом в колледже в Бюиже, куда каждое утро приезжал на поезде, преодолевая пешком в любую погоду два километра от нашего дома до маленького вокзала в сопровождении сестры, ездившей намного дальше, в лицей Юсселя. Я не видел в их глазах возмущения, какое однажды прочел в материнском взгляде.

Я заблуждался. Эти лица были в некотором роде немыми. В детском возрасте безразличие – эквивалент вежливости или жестокости, выраженные не иначе как в отстраненности и опасливой неприязни. Я был обречен на одиночество, из которого мне суждено было выйти только после полового созревания. Таким образом в малолетстве я жил как мальчик, который умел своей рукой утешить мужскую гордость, хотя и не получал от этого большого удовольствия. Я был виновен, что мое лицо не могло приглянуться той единственной женщине, которую ждал. Но я уже предчувствовал: меня когда-нибудь должно спасти удовольствие от одиночества, поскольку страдал уже намного сильнее, чем можно было себе представить, и отдалялся от других, искал одиночества или общества деклассированных людей, таких ненормальных, как Жан Питр, младший сын проклятого семейства. Это был странный и нежный тип, как считалось, по крайней мере, среди детей, он знал то, чего не знали взрослые. Именно у него я в конце концов спросил о своей внешности.

Он посмотрел на меня молча, сидя на соломенном стуле посреди крохотной кухоньки, где проводил большую часть времени после работы на заводе. Жан Питр был задумчив, растерян и, вероятно, не понимал, о чем я говорил. Он все еще оставался красивым, несмотря на одинокую и трудную жизнь. Он даже следил за собой и еще не потерял вида старшеклассника пятидесятих годов, который ему придавали безразличие, стройность, длинные черные, зачесанные назад волосы и узкое, с правильными чертами нервное лицо, делавшее похожим на Жана Жака Руссо или Антуана Арто.

– Никто из людей не прекрасен, – в конце концов прошептал он. – Прекрасными могут быть только женщины.

– Только женщины?

– Да, они все прекрасны.

– Все женщины, Жан?

– Все, даже те, кого не считают красавицами.

Несомненно, я имел дело с простаком, и он дал мне ответ, который я вначале воспринял как насмешку, но потом решил, что он жил на границе снов и простые люди способны говорить истины, рожденные более их догадками, чем личным опытом. Они обладают даром, сами того не осознавая, открывать некую правду, которую отец Карамазов извлек из одной из своих максим и которая позволила ему сказать, что он ни одну женщину не считал уродливой.

То, что мне тогда сказал последний из семейства Питров, я принял за чистую монету, не поняв до конца глубинного смысла этого. Но я согласился с фактом: красота – это не удел мужчин. Мужчины, как я полагал, должны быть только сильными и властными, и мужская красота заключается именно в этой силе, в мужской силе, для которой внешний вид не имеет никакого значения. Понятно, какое я себе нашел оправдание. Истина, выраженная Жаном Питром, несла в себе нечто чрезмерное, парадоксальное и предполагала, в чем мне суждено было вскоре убедиться, много исключений, одним из них был он сам: я слышал лестные отзывы жительниц Сьома о его лице. Равно как и о лице юного Лаволя, чья странная красота, надо признать, имела нечто женственное и обрела его на преждевременную смерть.

Не будучи сплетником, Жан Питр был очень болтлив в компании: его личная жизнь была пуста, и он жил лишь в том порядке реальности, что и другие люди. Он был невинен, хотя степень его простоты была не сравнима с Люси Пьяль: ведь он мог работать на фанерной фабрике и даже вести несколько дел, порученных ему страховой компанией, чьим представителем он являлся. Я знал, что весь Сьом узнает от этого мутного прорицателя о моем вопросе. Я дал истине возможность выплеснуться из колодца и напомнил обществу, что оно могло объединиться против одного человека, особенно если он не был уроженцем Сьома, а местных корней матери было недостаточно, чтобы меня защитить. Кроме того, против меня было то, что она была разведена, а в те времена это было явлением довольно редким и вызывало единогласное осуждение.

Ничто не могло меня защитить. Все стали считать меня уродом, потому что я сам это сказал. И все ухватились за этот эпитет, как за непререкаемую истину, обрадовавшись возможности осудить всю семью, в особенности слабого мальчика, который пришел с этим вопросом к последнему из рода Питров. Этот вопрос в конце концов превратился в констатацию факта и обрел форму, которые я до сих пор помню и которые можно выразить таким образом:

«Бедный мальчик, он действительно уродлив».

Ко мне прилепилось прозвище, на местном наречии оно звучало не так сильно, как на французском, – страшилка. Впервые я услышал его от Жаны Берг-Дье как-то вечером, когда пришел к ней смотреть телевизор. У нас в доме его не было, поскольку мать считала недостойным нас это развлечение простолюдинов, мешавшее ей читать. Но я уже находил себе утешение в возможности уничтожения мира, почерпнутой именно из книг.

В тот вечер показывали фильм «Наис» по роману Марселя Паньоля, мелодраму, где актер Фернандель, чье лицо было образцом трогательного уродства, играл роль горбуна, влюбленного в дочь хозяев дома. Этот земляной червь полюбил мерцающую звезду, но был способен своей молчаливой любовью, равно как и своим монологом о маленьких горбунах и герцоге де Лозун, размягчить гранитную глыбу. Он заставил нас плакать. И мы с Жанной Берг-Дье плакали, хотя и не были горбатыми, но и красивыми тоже нас не назовешь. У нее было костлявое лицо, бурбонский нос, слишком тонкие губы, голубые глаза настолько светлые, что казалось,

она была в обмороке. А я был тем, как меня называли. Эта добрая женщина обернулась ко мне и сказала раздраженно, но с выражением самого глубокого сострадания:

«Бедный мой страшилка, ты, должно быть, так несчастен...»

## V

Я был страшилкой, унаследовав уродство не от матери, чей достойный облик делал ее невиновной, а от отца, как все утверждали, хотя немногие знали или хотя бы видели, как он выглядел. Он был для местных в некотором роде чужаком, родом из Бор-лез-Орг, городка, расположенного в шестидесяти километрах от Сьома, на границе Лимузена и Оверни. Единственным достойным выходцем из этого городка был Жан-Франсуа Мармонтель, известный писатель времен Просвещения, ныне почти забытый даже в самом Боре. Настолько же забытый, как и мой отец, с которым мать повстречалась не знаю даже где. Городской человек, чью семью в Сьоме не знали, все свое время проводил в дороге, словно цыган. Работа перевозчика несколько раз приводила его в Сьом, где Жак Лов принимал от него лес. Лова бросила жена примерно в то же самое время, когда отец разошелся с моей матерью. Мне было десять лет, и я жалел его сына Тома, моего молчаливого и одинокого однокашника в школе Сьома. По причине того, что гораздо более жестоко быть брошенной матерью, особенно такой красивой, какой была Ан-Мари Лов, Том всю жизнь старался отыскать ее в Париже, а вот я старался всячески забыть лицо отца, которого я почти не знал. Тот погиб в автокатастрофе спустя несколько лет, вечером, неподалеку от Коссада, в департаменте Тарн-и-Гаронна, оставив мне в наследство лишь круглое мрачное лицо со слишком густыми бровями. Если я не ошибаюсь, мать убрала все его фотографии: мужчины с толстыми руками и широкими плечами, косноязычного, молчаливого, даже частенько хмурого, словно не находившего места среди нас. Эти воспоминания могли бы мне помешать верить в супружескую любовь. Еще одно воспоминание, такое же смутное: сентябрьский вечер, когда он пришел со своим служащим грузить мебель из нашего дома в Бор-лез-Орг, чтобы перевезти его в домик, который сняла мать на окраине Сьома, дабы избежать позора брошенной жены, а также запаха кожевенного завода, пропитавшего в то время всю долину. Вывозилась вся мебель, без исключения, словно он не хотел оставить ничего, что должно было быть с ним до самой смерти. Возможно, он предчувствовал смертельный исход, хотя некоторые говорили, что он сам ее вызвал.

«Вся жизнь – это бесконечная неудача», – сказала потом мне сестра в одном из редких разговоров об отце. Я удивился, услышав от нее такую общеизвестную истину, одну из тех общих фраз, которые она сама же критиковала. Эта фраза напоминала рассказ «Надлом» Фицджеральда, этого писателя ни она, ни я не любили, разве что кроме этого высказывания, слишком известного, чтобы его употребляли такие люди, как мы, всегда стремившиеся к истине.

У моей сестры, моей старшей сильной сестры, тоже были моменты отчаяния. Они делали ее более дорогой и заставляли меня понимать, что до той поры я никогда не задавался вопросом, любил ли я ее. Она была всегда: до меня, во времена моего детства и юности, потом во взрослой жизни. И я даже представить себе не мог, что ее не будет, когда я покину этот мир. Я никогда даже не задумывался, была ли она доброй или просто милой: она была твердой и даже более, чем мать, закалена жизнью, каждый ее день походил на победу над подстерегавшим головокружением, которому я со своей стороны готов был отдаться. Заслонившись своей уверенностью, я никогда не старался узнать, кем же была моя сестра. Элиана всегда была для меня старшей сестрой, откровеннее, чем мать, она открыла мое положение уродливого человека, а потом всю жизнь пыталась залечить рану, нанесенную мне ими обеими. Не то чтобы она пожертвовала собой ради меня, нет, сестра заняла место матери, следила за моими домашними заданиями, покупала книги, одевала, готовила поесть, так как мать часто отсутствовала на работе и есть нам приходилось одним. Потом она взяла меня с собой в Юссель, где преподавала в лицее. Я был счастлив, что уехал из Сьома, где мое положение страшилки не позволяло жить нормальной жизнью. Если вообще где-то могла существовать нормальная жизнь

для такого, как я, и даже для всех. Ведь жизнь, с какой стороны не посмотри, – что-то вроде катастрофы, а общество, другие люди, время заставляют нас смириться с этим.

Но именно в Юсселе, в этом сером заштатном городке Верхнего Корреза, казавшемся мне достаточно большим, чтобы затеряться, я нашел ужасные зеркала в глазах девчонок. И не только тех, кого считали красивыми, но и страшеньких. Осознание моего уродства открыло мне, в конечном счете, глаза на других людей, перечеркнув слова Жана Питра о женщинах.

Но я не только обнаружил, что существуют некрасивые женщины, но и на своем опыте познал, насколько они жестоки в обращении с теми, кто на них похож, как с мужчинами, так и с женщинами. Они вымещают на них всю свою злость за то, что природа их обделила красотой. Особенно на тех, кто кажется слабым. И делают это, чтобы их якобы утешить и выставить себя в лучшем свете. Жестокость – самая распространенная в мире вещь, когда люди видят, что есть кто-то более уродливый, чем они. Поэтому такой боязливый от природы мальчик, как я, стал для них желанной добычей.

Больше всего мне пришлось столкнуться с этими страданиями не в лицее, где меня защищало положение моей сестры, а на улице, стоило только мне выйти из класса в компании с одноклассниками. Среди них были жители Сьома, конечно же рассказавшие, какое у меня там было прозвище.

Я не хочу представлять себя более несчастным, чем был на самом деле. Уродство несло в себе некую печальную известность, и только писательский труд, как мне вскоре сказала мечтавшая о такой моей карьере сестра, мог придать достойный блеск. Лучше было быть таким, какой я есть, чем походить на тех мальчишек с невыразительными лицами, ставших в большинстве своем ничего не значившими людьми. Потребность насмехаться, обзывать, унижать, изгонять – закон общества и психологическая потребность. А тот, против кого все это направлено, если не начинает любить свои страдания, может получить удовольствие в худшем, превосходящем унижение и непристойное отношение, связывающие жертву с ее палачом.

Но я прежде всего был жертвой самого себя. Я смирился с жизнью, которая была ниже моей славы, и никто не мог заставить меня внести в нее перемены, даже единственная девочка, с которой я поддерживал откровенно приятельские отношения. В четырнадцатилетнем возрасте я все еще полагал, что между лицами противоположного пола возможна дружба. Я не верил Брижит, когда она называла меня милым: в этом эпитете я чувствовал оттенок жалости и старался от него избавиться, проявляя себя игривым, легкомысленным, безразличным. Мы встречались назло всем, это правда, по средам после полудня на улице Церкви в служебном помещении обувного магазина ее родителей. Они вначале чувствовали себя польщенными тем, что брат дипломированного преподавателя классической литературы находил интерес в компании с их единственной дочкой, и несомненно были удовлетворены моим уродством, которое заставляло их забыть про уродство Брижит.

Любой другой на моем месте постарался бы взять верх над девушкой. И не потому, что это могло бы ей понравиться, а чтобы одержать одну из тех ужасных побед над другим, которые вытекают из любовных отношений. Не оценивая открыто мою внешность, Брижит все-таки очень хотелось сказать: мы с ней некрасивы из-за того, что считаем, будто бы другие смотрят на нас с насмешкой. Ей трудно было сформулировать эту мысль, поскольку она оказалась не очень умной и скорее застенчивой, но это было ее открытием. Кроме того, она говорила, что «рыбак рыбака видит издалека», и против этой поговорки трудно было возразить. Однако я желал всего, кроме того, чтобы быть похожим на Брижит: хотел быть не только лишенным красоты и привлекательности, как она, а быть несравненно уродливее ее. Да, сохранить абсолютное превосходство моей уродливости, и поэтому я старался уверить девушку, что она красива. Брижит мне бы не поверила, и я сомневаюсь, что мне удалось бы сделать это, даже принимая

во внимание снисходительность женщин к себе. Я убеждал ее, что она не лишена свежести и даже очарования обиженных природой людей.

Наши разговоры в большинстве случаев касались совсем другого. Я много говорил и, наверное, казался самым занудным мальчиком на свете. Особенно много я разглагольствовал о прочтенных книгах. Она их не читала и вообще не любила читать, усугубляя этим свою невзрачность. Впрочем, это было неважно: я испытывал потребность говорить, а она была единственным существом, с которым я мог это делать. Мне никогда не нравились компании мальчишек, хотя сестра часто повторяла, что я должен дружить с ними и немного отойти от одинокого мира книг. Брижит не любила читать, но ей нравилось слушать мои рассказы о книгах, особенно о некоторых романах, напоминая ей о том единственном, что ее интересовало, – о любви. Она говорила об этом с томным выражением лица, со вздохами и сжимала челюсти так, как можно это делать только в четырнадцать лет, когда девушка хочет получить удовлетворение, но колеблется между чувственностью и потребностью исполнить приказание тела.

У нее были красивыми только глаза. Во всем остальном – увы, она была худа, с несколько перекошенным плоским лицом, большим носом, длинными каштановыми волосами, прикрывавшими лицо. Отсутствие красоты делало ее скорее невзрачной, чем уродливой. Я научился не обращать на это внимание, тем более что на обувном складе, где мы встречались, помимо неистребимого запаха новой кожи царил полумрак, едва рассеиваемый падавшим сквозь окно светом. Странно было, что ее родители позволяли нам подолгу там находиться. Брижит верила в большую любовь и ничего больше не хотела, удивлялась моей «отрицательной позиции» относительно этого, что я собирался жить без любви и уже видел конец любого явления, даже не пережив его, словно мне было уже пятьдесят лет.

«У меня такое впечатление, что тебе уже пятьдесят», – добавляла она, приближаясь, чтобы лучше рассмотреть мое лицо и проверить, доходили ли до меня ее слова, и делала это с таким апломбом, который я встречал только у красивых женщин. Даже самые глупые женщины легко угадывают тайны мужчин, поскольку сами способны лгать и гениально отдаваться, а мужчины рядом с ними часто становятся похожими на бычков, пасущихся на лужайке. И одному Господу известно, была ли Брижит права, утверждая, что старик, уродство еще большее, чем старость, – противоположность молодости. И с этим старым мужчиной мне уже приходилось бороться внутри себя.

Я тогда подумал, что это было одним из способов не называть вещи своими именами и Брижит хотела лишь поцеловать меня, а точнее, поцеловать мальчишку впервые в его жизни. Как бы некрасива она ни была, даже настолько уродлива, что в тот момент, когда она приблизила свое лицо, мне показалось – я делал ей подарок, позволяя ее губам коснуться моих, когда я почувствовал ее дыхание, казавшееся мне великолепным, хотя в нем улавливался запах кислоты из пустого желудка, кричавшего от голода, вовсе не того голода, что я полагал, но в котором силился найти привкус счастья, я готов был считать ее соблазнительной. Я закрывал глаза, как это делали одноклассники, выходя из лица, стараясь не видеть при этом эту жирную и слегка прыщавую кожу, эти неприглядные черты лица – все это я готов был забыть. Но это не помешало Брижит, когда ее лицо было всего лишь в нескольких сантиметрах от моего, когда я мучился вопросом, в какой момент следовало открыть рот и высунуть язык, резко оттолкнуть меня. Признаюсь, тогда она показалась мне почти красивой. Ее гнев, возможно, был всего лишь уловкой во избежание разочарования, которое я мог испытать, как она думала. Брижит отказалась от волнения, моментально украшавшего любую девушку, и по неопытности и из страха не поддавалась желанию. Она отказалась от опыта, который ей ничем не грозил и который освободил бы нас обоих:

«Да за кого ты себя принимаешь, страшилка!»

Я встал, вытянув руки в стороны, пригвожденный своей мужской плотью, которая напряглась помимо меня. Я изо всех сил старался сохранить достоинство. Как утверждала мать, утверждавшая, и теперь я это понял, что достоинство должно заменять не красивый внешний вид, а приличия. Я попытался проглотить оскорбление, вполне привычное для меня, но никак не ожидал его услышать из уст Брижит, тем более при таких обстоятельствах. Мой член стал еще тверже, набирал апломб, стойкость (не смею сказать «красоту»), вступая в противоречие с тем, что я думал о своем лице, мгновенно округлившись в немой улыбке, возвращая меня к ужасному противоречию между желанием и красотой. Потом он выплеснул свое семя, не дав мне времени что-либо понять и не доставив удовольствия, как будто я немного пописал. В это время Брижит спохватилась и, покусывая губы, расстроено прошептала, хотя в ее глазах светилась победная жалость:

«Извини, извини, я не это хотела сказать».

Но мне не в чем было ее упрекнуть, не за что прощать. Я сам себя поставил в дурацкое положение, приняв желаемое за действительное, а внезапную слабость за согласие, подавать которые надлежит только женщинам, пусть даже они показывают совсем не то, чего желают. У меня не было ни малейшего желания ее целовать, даже из любопытства или желания показать, что я не отличался от других. Это любопытство не давало мне покоя и возникло при виде мальчиков моего возраста, ведущих себя с девочками как опытные завоеватели, а те делали вид, что сопротивляются, чтобы получше потом отжаться.

«Я сам во всем виноват», – прошептал я, думая лишь о том, как бы она не опустила глаза и не догадалась обо всем, увидев пятно на брюках. Это пятно, казалось, поднималось до лба и светило, словно вечерняя звезда на летнем небе.

## VI

Прошло уже много лет, а эта сцена постоянно всплывает в памяти, стоит мне оказаться перед красивыми женщинами, проявляющими ко мне интерес, причины которого я прекрасно понимаю, поскольку стал главным редактором небольшой еженедельной газеты, поддерживающей одного известного местного политика, чьи идеи меня вовсе не интересуют. Они стараются помочь человеку, забыть о том, что он обделен природой. Равно когда я встречаю женщин менее красивых или некрасивых, почти уродливых, не скрывающих, что именно я их интересую, во что я, кстати, всегда верю с трудом. Правда, я всегда делаю вид, что верю им. Они обманывают себя, как это делают, чтобы преодолеть отвращение. Если жестокость и низость – единственный выход из ситуации, это роковое, жгучее, но настоящее желание выворачивает тебя наизнанку, словно перчатку.

В тот день на обувном складе я не познал ни страдания, ни радости. Брижит резко повернулась ко мне, взяла руку, подняла свой свитер и положила мою ладонь на грудь. При этом она не закрыла глаза, как, по-моему, должно было случиться. Нет, она смотрела на меня пристально, почти холодно, скорее с жадным любопытством, не давая мне при этом пойти дальше: сунуть другую руку под бюстгальтер и прикоснуться к плоти, которая по моим ощущениям была одновременно вялой, нежной и плотной. Она запрещала сделать *это* из опасения, что нас застанут, или считая *это* чрезмерной наградой для меня, *это* могло завести нас слишком далеко. Очевидно, Брижит заметила, что мой член снова возбуждился, и опасалась, что ее тело мне не понравится. При этом она и догадаться не могла, что ее груди сильно перетягивали ее уродство. А грудь была почти такой же пышной, как у Люси Пьяль, о которой я в тот момент подумал и, повторюсь, впоследствии старался найти в каждой женщине, особенно в проститутках. Я выбирал их по большей части именно из-за размера груди, сожалея, что они не любили, чтобы клиенты ласкали их грудь и уж тем более прикасались к ней губами, если только за это не платилось отдельно. Можно было лишь аккуратно прикоснуться к груди рукой, и этот жест превращал клиента в привычного любовника.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.